

## Воспоминания Г. В. Никольской о Рукописном отделении

*Вступительная заметка, подготовка текста, публикация и комментарии Л. Б. Вольфцун*

Воспоминания о Рукописном отделении ГПБ написаны Гали Всеволодовной Никольской (1897–1942)\*, служившей там в 1934–1940 гг. Придя в Библиотеку уже сложившимся человеком, она нашла здесь тот душевный комфорт, который искала долгие годы. Требовательная к себе и другим, бескомпромиссная, со сложным характером, Никольская на протяжении многих лет занималась библиографической работой в различных учреждениях Ленинграда. Она начинала в Институте Книговедения, служила в Комакадемии и Доме инженерно-технических работников, но нигде не ощущала себя так хорошо, как в Рукописном отделении. «Давно прошли те времена, когда мне казалось неуютно и одиноко в Рукописном отделении. Теперь я чувствовал\*\* его, как свой второй дом: я, можно сказать, нежно любил мой угол у окна...» Действительно, Никольская любила свой «угол», свою работу, любила Рукописное отделение и это чувство пронизывает ее воспоминания. Однако, несмотря на общую теплую тональность, на тонкие наблюдения и яркие зарисовки, они наполнены также острыми, а подчас едкими и нелюбезными замечаниями. В. С. Люблинский, который одним из первых прочитал их после смерти Г. В. Никольской, считал, что «они написаны живо, но ужасно как эгоцентричны и неглубоки». Тем не менее, несмотря на естественный в таком случае эгоцентризм (воспоминания писались для себя) они чрезвычайно интересны и представляют несомненную ценность.

Воспоминания о Рукописном отделении были написаны Никольской в начале войны, незадолго до смерти в блокадном Ленинграде. Многие годы они считались пропавшими и лишь благодаря Александре Дмитриевне Люблинской, которая сохранила их в своем архиве, стали доступными для нас. Текст печатается по ксерокопии, сделанной с оригинала рукописи, хранящейся в архиве Санкт-Петербургского филиала Института российской истории в фонде А. Д. Люблинской.

\*\*\*

1941. 2. VIII.

Рукописное отделение ГПБ (1933–1941).

1-го октября 1933 г. в хмурое осеннее утро, около 10-ти часов, я вошел в Рукописное отделение Публичной библиотеки. Часто бывая в читальных залах и других отделениях библиотеки, порог Рукописного отделения я до этого дня переступил лишь раз, когда пришел туда, кажется, летом 1919 г., чтобы ознакомиться с рукописями Полежаева<sup>1</sup>. От этого первого посещения у меня ос-

---

\* Более подробно о судьбе Г. В. Никольской см.: Вольфцун Л. Б. Гали Всеволодовна Никольская – библиограф и архивист // Историко-библиогр. исследования / РНБ. СПб., 2000. Вып. 8. С. 138–148.

\*\* Воспоминания написаны от мужского лица.

тался в памяти только какой-то сумрачный зал, в котором я сидел, и заведующий отделом И. А. Бычков<sup>2</sup>, его не запомнить было нельзя... Дня за три до моего поступления в Рукописное отделение я имел первую и последнюю беседу с директором [Публичной библиотеки] – Добраницким<sup>3</sup>, – высоким человеком с наружностью директора какого-нибудь дореволюционного департамента. В натуре я таких директоров (из породы распекающих Акакия Акакиевича) не видел (если не считать фотографий), но мне этот тип представляется очень ярко. К Добраницкому так и просился вицмундир, как и к Якубинскому<sup>4</sup>; и как к В. А. Десницкому<sup>5</sup> – поповский подрясник. Бывают такие счастливые своей определенностью люди...

Добраницкий, не имеющий обо мне никакого представления, предложил мне в Рукописном отделении должность библиотекаря 2-го разряда. Я в двух словах посвятил его в тайны моего *curriculum vitae* и очень твердо заявил, что если на месте моей последней работы, т. е. в библиотеке Комакадемии, я был старшим библиотекарем, то я не вижу никаких оснований помолодеть в Публичной библиотеке до степени библиотекаря 2 разряда. Добраницкий выслушал меня с благосклонным вниманием и сказал: «Это – правда...» Я был зачислен с 1 октября библиотекарем 1-го разряда на половину рабочего дня, т. е. должен был работать с 10 [до] 12 1/2 (рабочий день членов Секции научных работников равняется 5 часам!).

Итак, 1-го октября около 10 часов я прошел в Рукописное отделение, не имея ни малейшего понятия ни о характере предстоящей мне работы, ни о технике архивного дела. Доступ в Рукописное отделение, как я теперь вижу, был весьма свободен... Меня, незнакомого никому человека, пропустили в Рукописное отделение тогда, когда в нем не было еще ни одного сотрудника. Я минут 10 просидел в его «читальном зале», в полном одиночестве, пока не явился В. Г. Гейман<sup>6</sup>. Я ему назвал себя... Он, очевидно, был предупрежден о моем приходе. Очень просто поздоровавшись со мной, он проговорил: «Где же Вас поместить?» Подумав немного, он провел меня в тот зал, в котором я потом всегда сидел, в котором устроил столь мною любимый «угол», т. е. в V зал<sup>7</sup>, и, указав на пустой, неуютный стол, стоявший сразу у входа, но не у окна, а у полки, заметил: «Ну, пока устройтесь хотя бы тут...»

Когда пришел Бычков, я ему представился. Старик меня встретил со своей обычной приветливостью и старинно-изысканной вежливостью. Потом явился мое непосредственное начальство в лице Г. Е. Горбачева<sup>8</sup>; он ведал так называемыми новыми фондами, т. е. рукописями, поступившими в отделение за революционные годы. В ответ на мой вопрос, в чем будет заключаться моя работа, Горбачев указал мне на стоящий на столе картон и сказал: «Вот архив Ясинского<sup>9</sup>. Разбирайте *его*...» Это было первое и последнее указание, которое я от него получил. Мне было не трудно догадаться, что в архивном деле, в технике разборки архива он понимает не больше моего, а потому со всеми возникавшими у меня вопросами я стал обращаться к В. Г. Гейману.

Мне до тех пор никогда не приходилось работать в очень больших учреждениях, и первое время я чувствовал себя каким-то затерянным, одиноким, не с кем было перемолвиться словом.

Состав Рукописного отделения в это время был следующим: И. А. Бычков, В. В. Майков<sup>10</sup>, О. А. Добиаш-Рождественская<sup>11</sup>, В. Г. Гейман и А. Н. Римский-Корсаков<sup>12</sup> были основным ядром старых сотрудников, связанных между собою и долголетней общей работой, и единством воззрений. Промежуточное положение занимали специалист по древнееврейским и арабским рукописям И. И. Равребе<sup>13</sup> и С. А. Ушаков<sup>14</sup>, функции которого мне оставались неизвестны; наконец, к третьей группе – к группе нового пришлого элемента, чуждого и неприятного «ядру» Рукописного отделения, относились Горбачев, некий Бердников<sup>15</sup>, бывший аспирантом Института речевой культуры, горбачевский подголосок, и Кацнельсон<sup>16</sup>, молодой человек, жаждавший карьеры и фортуны и цепко державшийся в этих видах за Горбачева. Наконец, ни к одной из этих групп не принадлежал Дашевский<sup>17</sup>, числившийся заместителем Быčkoва; зато он принадлежал к группе типичных кретинов.

Никого из этих лиц я до поступления в Рукописное отделение не знал, если не считать почти шапочного знакомства с Горбачевым по Институту Речевой культуры; единственный же, с кем я был знаком несколько ближе – Римский-Корсаков – находился в момент моего поступления еще в отпуске. Первое время я был очень одинок и спасался только интересной работой.

Рукописное отделение тех лет находилось в печальном состоянии, как в отношении его материального оборудования, так и в смысле отсутствия в его работе всякого плана, всяких общих, единых для всех сотрудников, принципов описания архивов. Доживали свои последние дни старые традиции: работа без плана, работа по домашнему... Описи, с которыми я знакомился, были составлены совершенно кустарно, примитивно. Они меня не удовлетворили, но первое время и я им рабски следовал из пиетета перед мудростью старых сотрудников Рукописного отделения. Отсутствовали необходимейшие предметы для работы: папки, обложки, карточки, бумага и т.п. О роскоши помещения документа или хотя бы ряда документов в отдельные папки я и не мечтал. Тоненькие прокладки из какой-то «макулатурной» бумаги заменяли собою папки, обложки и разделители.

Новые лица, пришедшие в Рукописное отделение, – т. е. Горбачев, Бердников и Кацнельсон, – пришли туда с единой целью – пожить, чем окажется возможно, в «новых фондах». Они работали там не для Рукописного отделения, а для себя, для своих «публикаций». С жадностью они набросились на архивы Ремизова<sup>18</sup>, Ясинского, Юргенсона<sup>19</sup> и др., ища в них интересных писем. Особенно полюбился им архив Ремизова. В короткий срок они умудрились основательно растрепать неуклюжие самодельные тетради, в которые были вклеены Ремизовым письма к нему разных лиц. К счастью, Бердников был вскоре уволен, так как он оказался явно неработоспособным и ходил в Рукописное отделение тогда, когда ему вздумается; Горбачев, витавший и в университете, и по разным редакциям, и в Союзе писателей, появлялся у нас, как метеор, и снова исчезал на более или менее продолжительный срок. Наиболее основательно присосался к «новым фондам» Кацнельсон. Он избрал себе большой архив А. В. Половцева<sup>20</sup>, разнюхав в нем интересный материал к биографии П. А. Кропоткина<sup>21</sup>, что-то мудрил с этим архивом целый год, и в результа-

те архив оказался не столько разобранным, сколько напутанным.

Моя работа никем не руководилась и не контролировалась. При желании, я бы мог ровно ничего не делать. Я же, напротив, увлеченный множеством раскрывавшихся передо мною ценностей, стал торопиться все их охватить хотя бы самым элементарным коротким описанием. Желая придать этому своему желанию вид законченный, я официально предложил Горбачеву разрешить мне составление карточек на письма по всем «новым фондам»; письма являлись в них самым ценным, и многие архивы состояли почти исключительно из писем. Разрешение было дано, и я с жаром взялся за работу.

Результатом этих работ были тысячи карточек, стоящих и поныне в карточном каталоге Рукописного отделения. Карточки написаны элементарно до *plus ultres*<sup>22</sup>, и все же за эти годы они являлись единственным ключом к содержанию «новых фондов», к ним часто обращались, следовательно, работа не была проделана даром...

Ко всем «новым фондам» я имел совершенно свободный доступ. Да и кто бы при желании его не имел! Шкафы не запирались... Картоны с некоторыми архивами за отсутствием места стояли чуть ли не на полу. Удивительно патриархальные нравы царили тогда в Рукописном отделении. Архив бар[она] Гинцбурга<sup>23</sup>, совершенно еще не разобранный, лежал в большом, так называемом, сундуке, и Горбачев с К<sup>0</sup> рылись в нем в поисках интересных писем.

Когда я поступил в Рукописное отделение, никто ни с кем меня не познакомил; я, по своей стеснительности, не решался идти сам знакомиться со всеми сотрудниками, и первое время чувствовал себя из-за этого очень глупо. Первый положил конец моему глупому положению В. В. Майков. Когда мне случилось обменяться с ним по какому-то поводу несколькими словами, он просто сказал что-то вроде того: «Пора нам и познакомиться...» и отрекомендовался: «Владимир Владимирович Майков».

Кажется, поводом к нашему «знакомству» послужила кража из Рукописного отделения Остромирова евангелия. Этот бесценный памятник древнерусской письменности, хранившийся всегда в особой витрине, был в один прекрасный день, вместе с другими ценными рукописями, получен для обозрения какими-то почетными экскурсантами вне своей витрины. Когда же в конце дня Бычков пошел его убрать на место, – Остромирово евангелие исчезло!.. Можно себе представить, что поднялось в Рукописном отделении!.. Немедленно были вызваны агенты ГПУ. Они установили, что в этот день в Рукописном отделении работали по ремонту парового отопления водопроводчики. Немедленно опрашивались к ним на дом и застали их пьяными. Они сознались в краже... Остромирово евангелие, разумеется, им было не нужно. Их соблазнил массивный серебряный переплет, который можно было недурно использовать в Торгсине<sup>24</sup>. Один из них сдирал оклад, а другой в это время нарочно громко стучал по трубам отопления своими инструментами. Содрав оклад, они забросили Евангелие за один из шкафов. Придя домой, они растопили серебро в слиток и сбыли его в Торгсин, наградив себя за труд покупкой торгсиновской водки. Оклад, по словам Быčkова, художественной ценности не представлял и относился, кажется, к Николаевской эпохе, но при его сдирании оказался поврежденным первый

лист Евангелия. Эту кражу просили держать в тайне, не разглашать, но, конечно, о ней знала вся библиотека, а потом узнали и другие. Я несколько раз интересовался, какой ответственности подверглись воры, но никто не мог удовлетворить мое любопытство.

Через несколько дней после этого события вернулся из отпуска А. Н. Римский-Корсаков, сидевший в одном зале со мной, у окна, выходящего на Невский. Он удивился и обрадовался, увидев меня в числе сотрудников Рукописного отделения и заметил: «Ну, мы можем здесь с Вами устроить какую-нибудь кооперацию по музыкальной части...» Никакой кооперации мы с ним не осуществили, и только я всегда его информировал обо всем имеющем отношении к музыке, что встречалось в наших «новых фондах».

Прежде, чем перейти к дальнейшему, остановлюсь в двух словах на тех сотрудниках Рукописного отделения, – не из числа его «ядра», – которые вскоре ушли из Рукописного и, таким образом, в будущем их имена не встретятся в этих моих записках.

О некоторых из них мне сказать нечего; о Горбачеве я говорил в связи с Институтом речевой культуры; Бердникова и Ушакова я совсем не знал.

Заместитель Бычкова – Дашевский был отталкивающей фигурой. У него была наружность унтера; говорил он так, как будто бы каждая ноздря его была забетонирована, по крайней мере, фунтом ваты, и при этом немилосердно растягивал слова. Благодаря этому, его слова скорее напоминали мычание парализованного, чем связную речь, и понимать его было трудно. Говорили, что это следствие контузии, полученной им на войне. Может быть, но от этого речь его не становилась членораздельнее. Вдобавок, у него всегда невыносимо пахло изо рта. Во время моей единственной беседы с ним меня буквально чуть не стошнило, тем более, что Дашевский имел ужасную привычку близко наклоняться к своему собеседнику. Что он делал в качестве заместителя Бычкова, мне неизвестно, но, кажется, ничего не делал. В его голове бродил какой-то, самому ему непонятный, проект организации учета в нашей работе; это было его коньком, и со всеми сотрудниками поочередно он считал своим долгом разговаривать на эту тему, обдавая их своим гнилым дыханием. Я, послушав около часа его мычание, ничего не мог уразуметь, кроме того, что у Дашевского в голове – совершенная каша, и что принимать всерьез его мычание невозможно. К счастью, этот кретинообразный субъект исчез из Рукописного отделения очень скоро. Представляю себе радость Бычкова!

И. И. Равребе я знал тоже очень мало, и все наши краткие разговоры с ним происходили почти исключительно в курительной комнате. Он был еврей, но наружностью напоминал скорее эстонца: не белокурый, а какой-то серый, весь серый (и костюм он всегда носил серый), точно всегда запыленный. От него во всякое время пахло чесноком, из-за чего я, по возможности, избегал разговоров с ним. Говорил он тоже как-то ужасно невнятно, что зависело, по моему, не от акцента, а от каких-нибудь фонетических причин. Что он представлял собою, как человек и как ученый, решительно не знаю. Мне он никогда не был по душе, хотя и совершенно безотчетно.

Несколько больше я знал Кацнельсона, молодого человека, весьма заня-

того своей особой и имеющего в себе что-то от Юшкевического Леона Дрея<sup>25</sup>. Доминирующей чертой в нем было самомнение, самоуверенность, приправленные немалой дозой нахальства. Стремление во что бы то ни стало выдвинуться внушило ему мысль избрать своей специальностью египтологию, и он довольно комично заявлял, что окажется единственным египтологом в СССР. Избрать такую специальность – это и солидно и «шикарно!». Однако, я сильно сомневаюсь, не была ли египтология Кацнельсона тем, чем являлись для одного из персонажей, – кажется, Андреевского, рассказа – портянки. Герой этого рассказа, желая казаться оригинальным, всегда твердит, что он носит только портянки; на самом же деле он их ненавидит... Так и Кацнельсон на самом деле представлял собою типичный образец «халтурщика», который взялся бы за всякую работу, лишь бы она сулила или деньги или хотя бы почет. Всякие мысли и раздумья у него были чисто хлестаковские... Рассказывали, что он не брезговал и устройством каких-то довольно темных делишек коммерческого характера. Говоривший с выше него стоявшим тоном почти молчалинским, с равным ему – свысока, а с прочими вообще не говоривший, он почему-то оказывал мне лестное исключение, говоря со мной тоном милого товарища, иногда, правда, смахивавшего на тон избалованного ребенка, и даже сам предлагал мне свои услуги для напечатания в «Литературном Ленинграде» неизданного письма Блока, найденного мною в одном из архивов. Сам он, – как я уже упоминал, – долго возился с архивом Половцева, а потом исчез из Рукописного отделения. В течение некоторого времени я встречал его мелькающим в других отделах библиотеки. Кажется, в конце концов те, кому надлежало ведать охраной библиотечного имущества, убедились, что лучше и спокойнее совсем избавиться от этого единственного в СССР «египтолога».

Весной 1934 г. в Рукописное отделение поступила А. Д. Люблинская<sup>26</sup>, а вскоре после нее – Т. К. Ухмылова<sup>27</sup>. Приблизительно в это же время поступил В. Н. Бенешевич<sup>28</sup>, – кажется, ранее уже работавший в Рукописном отделении – известный знаток Византии, специалист по нашим греческим рукописям; своей наружностью он мне напоминал почему-то польского помещика, и манеры у него были барственно мягкие. К нему стала ходить заниматься греческим языком Е. Э. Гранстрем<sup>29</sup>, наша будущая сотрудница, тогда – аспирантка. Занимались они чаще всего на «дубовой лестнице» внизу, у окошка, там, где помещалась библиотека А. Ф. Бычкова.

Мои отношения с А. Д. Люблинской долгое время ограничивались лишь поклонами; она занималась под руководством О. А. Добиаш-Рождественской западными рукописями, и у нас не было по работе никаких точек соприкосновения; территориально же, благодаря большому помещению и малому количеству сотрудников, мы были все очень разобщены.

Не так обстояло дело с Т. К. Ухмыловой; она сразу же оказалась близко связанной со мною и по работе (ей тоже поручили разборку «новых фондов»), и территориально, так как сначала она заняла мое прежнее место, в то время, как я уже переселился к своему (третьему по фасаду от Невского) окну.

Об Ухмыловой я раньше, – еще работая в Институте речевой культуры, – и впоследствии слышал от нескольких лиц отзывы отрицательные. Отрица-

тельность их относилась, главным образом, к ее интеллекту. При знакомстве с людьми я не привык руководиться ничем иным, кроме моего собственного впечатления от них, и потому встретился с Ухмыловой без всякого предубеждения.

Однажды Ухмылова подошла ко мне взволнованная и как бы сильно смущенная и сказала, что ей предложили должность заместителя Бычкова, настаивают на ее согласии, а она колеблется и не знает, как быть... На меня ее слова подействовали неприятно, мне показалось, что в лице Ухмыловой я имею дело с карьеристкой, которая, пользуясь партийным билетом, уже спустя несколько недель после своего появления в Рукописном отделении спешит устроить свое благополучие. Я в ней уже не видел в это время товарища, а видел будущего администратора. Поэтому я ответил ей весьма холодно и формально. Назначение ее немедленно состоялось, и первое время это изменило мое отношение к ней. Оно стало прежним тогда, когда я убедился, что это назначение не изменило Ухмылову, что, став администратором, она продолжает оставаться и товарищем.

\*\*\*

Я ничего не сказал о моем пользовании абонементом, между тем как право пользования им всегда составляло для меня (особенно, пока я еще мало привык к Рукописному отделению) одну из самых притягательных сторон работы в Публичной библиотеке. Согласно правилам, я мог пользоваться абонементом через три месяца после моего поступления в библиотеку. Я не пропустил ни одного дня, и 1-го декабря 1933 г., проделав всю нужную процедуру, подал мои первые заявки на книги. Их было две – Вассерман «Маски Эрвина Райнера»<sup>30</sup> и «Записки Лоренцо Бенони» Руффини<sup>31</sup>.

Первую я читал и раньше, и почему-то мне очень захотелось ее перечитать (перечитав, я сильно разочаровался, что бывает нередко. Есть книги, перечитывая которые, удивляешься своему первоначальному впечатлению и закрываешь их с чувством разочарования и скуки); вторая меня интересовала по причинам личного характера.

Я получил разрешение на пользование шестью книгами одновременно. Но практически я всегда брал их гораздо больше. Случалось, у меня накапливалось около 15-ти книг. Иногда абонемент решал быть строгим, требовал возврата всего выданного сверх нормы, но спустя несколько дней строгость сменялась прежней снисходительностью, особенно для научных работников. В принципе пользование беллетристической разрешалось не для чтения ее, а только для научной работы над нею. Но этот принцип оставался всегда самым пустым звуком из всех существовавших звуков, хотя каждый сотрудник, отдавая ему должную дань, и писал в своем заявлении: «беллетристика необходима мне для научной работы». Впрочем, кое-какие ограничения были... О них – дальше.

Первое время я добросовестно читал или перечитывал второстепенных русских писателей конца XIX – начала XX вв. (первостепенных я знал наизусть) вроде Потапенки<sup>32</sup>, Тимковского<sup>33</sup>, Ясинского<sup>34</sup>, Крашенинникова<sup>35</sup> и пр. и пр. Но как-то в мае 1934 г. Юка попросила меня принести ей что-нибудь из романов Монтепена<sup>36</sup>. Ее желание повергло меня в некоторое смущение. Про-

цент чтения беллетристики для научных целей мною весьма мало признавался и уважался, однако переход к Монтепену показался мне похожим на явное и вызывающее издевательство над этим принципом. Все же я решил исполнить просьбу Юки и, заглянув в соответствующий ящик каталога, обнаружил там целую кипу карточек на романы Монтепена. Названия их мне ничего не говорили и я выписал первый попавшийся под руку: «Ясновидящая». Через два дня на абонементе мне вручили несколько порядочно потрепанных томиков...

Юка уехала тогда на дачу, и я на следующий день собирался туда поехать вместе с Монтепеном. Сидя вечером в своей комнате, я подумал: «Посмотрю, что собою представляют эти пресловутые уголовные романы... Чем люди в них увлекаются?» И я раскрыл творение Монтепена. Читал я до позднего вечера, а на другой день, в полдень, спешно доглатывал то, что не успел проглотить накануне.

С тех пор началось мое совершенно запойное чтение литературы этого рода. Даже при бешеном темпе моего чтения его мне хватило года на два.

Бунин в своей автобиографической записке говорит, что его отец, до 30-ти лет не знавший вкуса вина, после 30 лет стал пить чуть ли не больше всех помещиков Орловской губ[ернии]. Тоже я могу сказать о своем отношении к уголовным романам. «Принцип» был сдан в архив, и я уже твердой рукой писал «требования» на самые душераздирающие названия романов Монтепена. Однако, на оборотной стороне моих «требований» я все чаще стал встречать нестерпимую для меня сердитую пометку: «На дом не выдается». Я отправился узнать, в чем дело, и выяснил, что литература такого рода выдается только научным работникам в научных целях, о чем следует сделать особое заявление. Не долго думая, я написал просьбу о разрешении пользоваться мне литературой «такого рода», так как я работаю над обширной темой: «Тематика западноевропейского романа XIX в.». Разрешение было дано, и пометка «на дом не выдается» исчезла, за исключением отдельных случаев. Еще больше терзали мое сердце другие отметки: «утрачено» или «нет на месте». Это уже равнялось «Lasciale ogni sperioza...»<sup>37</sup>. «Нет на месте», часто значило, что книга просто утеряна; это могло значить и то, что она поставлена не на свое место, т. е., выражаясь библиотечным языком, «заставлена». Для книжного океана Публичной Библиотеки это было все равно, что потеря книги. А такие пометки встречались часто... Они свидетельствовали об огромном количестве утерянных книг, и при том книг таких, какие можно найти только в Публичной библиотеке. По глупости я не собирал и не сохранил с самого начала эти «отказы»... А если бы я это делал, картотека получилась бы трагическая.

Как-то я подал «требование» на «Даму с камелиями» Дюма, причем собственноручно выписал из каталога шифры всех ее изданий, имевшихся в библиотеке, а их было восемь. Требования я получил обратно с пометкой: «по всем шифрам утрачено!..» И, встречаясь с такими фактами, никто не бил тревоги, считая, кажется, все это естественным и неизбежным злом. Были авторы, по которым я получал почти одни «отказы», все с такою же формулировкой. Немало их было по Монтепену, почти сплошные «отказы» я получал на Г. Леру<sup>38</sup>, на Марлитт<sup>39</sup>...



Перечитал я всех французских и английских уголовных авторов; кое-что – из немецких (у немцев по этой части [авторы] слабые), забирая раз или два в 6-дневку (тогда еще такая существовала) по огромной пачке книг. Одна из контролерш, через которую, при выходе из библиотеки, проходили книги, однажды сказала мне, что никто так широко не пользуется абонементом, как я... «И где только вы выискиваете такие интересные книги?!» – добавила она, с завистью глядя на заглавия книг.

Опять-таки по глупости я не вел никакого учета прочитанному. Если бы я его вел, получилась бы любопытная библиография литературы «такого рода».

Когда я прочел уже достаточное количество ее, у меня совершенно невнятно стали напрашиваться некоторые общие мысли и выводы о причинах возникновения этой литературы, о причинах ее колоссального успеха и даже о ее архитектонике и тематике. Мне неизвестно ни одной не только книги, но даже статьи о литературе уголовной или (дурацкое название) бульварной. Между тем, ее обилие, ее успех и ряд ее особенностей обязывали бы сказать о ней серьезное слово. К сожалению, когда я пришел к этой мысли, слишком много материала оказалось уже позади, и возвращаться к нему было бы очень сложно и долго. Мне нужно было бы на каждый роман составить карточку, в которой в простых словах отмечался бы сюжет, фабула, особенности (если они были) данного романа и т. п. Я уверяю, что выводы оказались бы интересными. Ну, да что с возу упало, то пропало!

Сотрудники библиотеки, на обязанности которых лежало разыскивать по «требованиям» книги в каталоге и ставить на них шифры, были в большинстве молоденькие девицы. Очевидно, приноровившись к моим «требованиям», они возгорелись желанием почитать эту заманчивую литературу. Раза два некоторые из них обращались ко мне с вопросами, какой автор и какой его роман наиболее интересен... Я добросовестно удовлетворял их любопытство. Но последствия пробудившегося в них интереса к уголовной литературе оказались весьма печальными, – и я тому невольный виновник!..

Мои товарищи по Рукописному отделению долго подсмеивались над моим увлечением «уголовщиной», а кончилось дело тем, что почти все они начали сами ее читать, предварительно являясь ко мне на консультацию. И вот тогда выяснилось, что многие из рекомендованных мною романов, – которые за год или два перед этим были у меня в руках, а перед этим десятки лет мирно пылились на полках, – теперь оказывались утерянными. Я открыл к ним путь – и, тем самым, обрек их на гибель... Думаю, что молодые сотрудники, не имея разрешения брать их на дом, снимали эти романы с полок, просматривали и ставили куда попало, а, может быть, и нелегально уносили домой. Унести при желании книгу не представляло никаких особых трудностей, несмотря на кордоны всяких контролей. Читатели умудрялись уносить с библиографического пункта при главном читальном зале даже громоздкие тома энциклопедических словарей.

Вообще же, у молодых тяга к уголовной, приключенческой, а также к порнографической литературе – огромная. Оно и понятно... Предлагаемая им школой, библиотекой, клубом литература слишком привычна, слишком дидак-

тична. Молодежь ненавидит дидактику, так как она всегда сыта ею по горло. Кроме того, сладок запретный плод...

В Публичной библиотеке был такой случай... В специальный читальный зал явился мальчик лет 12–13 и потребовал «Санина» М. Арцыбашева<sup>40</sup>. Услышав, что эта книга ему не может быть выдана, он с важным видом заявил, что она ему необходима для какого-то доклада в литературном кружке Дома пионеров. Несмотря на безапелляционность этого заявления, оно было проверено, – оказалось, чистейший вымысел...

Мне несколько раз до моего поступления в Публичную библиотеку, приходилось бывать в самых недрах ее книгохранилищ – в Круглом зале, в бывшем Русском отделении, и каждый раз я испытал нечто вроде молчаливого экстаза при виде этой стихии книг, как бы надвигающейся на каждого, кто проходил по этим многоярусным, немного мрачным, торжественным залам. Меня никогда не манила к себе работа в Публичной библиотеке (исключая Рукописное отделение), но я завидовал только в одном ее сотрудником: в том, что они ежедневно находятся среди этой книжной стихии, видят вокруг себя миллионы разноцветных книжных корешков на полках... Никакая роскошь самого великолепного дворца для меня не была так заманчива, как роскошь этого книжного царства.

И вот я оказался одним из его подданных... С радостным трепетом каждый раз теперь шел я по этим залам. Мне доставляла счастье мысль о том, что я нахожусь здесь по праву, что я могу войти в каждый зал, пройти по Косой галерее, смело, как свой, подняться из Главного Читального зала на две ступеньки за стойку, где производится выдача книг читателям... Долго я испытывал этот радостный трепет... С годами он уменьшился (привычка брала свое), но его отпечатки все время дрожали в душе...

\*\*\*

Возвращусь в мое Рукописное отделение... После зачисления Ухмыловой на должность заместителя Бычкова начинаются первые попытки введения плановости, унификации и учета в работе Рукописного отделения.

Но эти попытки встречали и тогда, и гораздо позже как явное, так и тайное сопротивление среди большинства наших сотрудников. Необходимо, впрочем, оговориться, что сопротивление не касалось ни плана, ни унификации, а только формы и методов учета.

Никакому, – даже самому безнадежному обскуранту в науке, – не придет в голову в наши дни возражать против того, что работа всякого учреждения, а тем более научного, должна строиться по заранее установленному плану. Никому также не придет в голову возражать против того, что форма описания какого-нибудь архива, форма каталожной карточки и т. п. должна быть едина. В наши дни кажется антинаучным анахронизмом тот полный субъективизм, который царил в описаниях отдельных рукописей или целых архивов, печатавшихся в «Отчетах Императорской Публичной библиотеки». Бычков составлял эти описания на свой лад, Майков – на свой, Лопарев<sup>41</sup> – на свой и т. д. Защитников такого антинаучного анахронизма не нашлось даже среди старейших сотрудников Рукописного отделения.

Другое дело – вопрос учета работы, вопрос тем более щекотливый, чем больше всегда администрация библиотеки подозревала в сотрудниках желание уклониться от всякого учета и тем самым открыть себе лазейку для научного *doice far niente*<sup>42</sup>. Уже не говоря о том, что такое подозрение само по себе оскорбительно для научного работника, отдающего все свое время и свои силы этой работе, которую он любит, которая его интересует, – вопрос об учете именно научной работы настолько спорен и сложен, что решать его удовлетворительно административным путем – значит произвести опасное и бесполезное насилие над научной работой.

Ставить этот вопрос во всю его ширь я не собираюсь. Я хочу только сказать об учете той работы, какая велась в Рукописном отделении, т. е., преимущественно работы по разборке, систематизации и описанию архивов.

Свести учет этой работы к количеству разобранных, систематизированных и описанных единиц хранения – нелепость. Во-первых, невозможно строго разграничить три стадии в разборке архива. Разборка, даже еще предварительная, уже имеет в себе все элементы систематики. Описание архива, как правило, производится тогда, когда систематизация закончена. Но кто из практиков архивного дела не знает и не встречался на своем опыте с тем, что часто во время описания лицу, производящему его, становится совершенно ясной необходимость каких-нибудь существенных изменений в систематизации? И работа, казавшаяся уже почти законченной, переделывается... Она должна переделываться! Не отказываться же от более стройной и удовлетворительной схемы систематизации только из-за боязни погрешить против норм учета!..

Во-вторых, научная работа по самому своему существу настолько специфична, настолько отличается от работы механической или близкой к ней, что подходить к ней с такими же методами и формами учета – значит обнаруживать свою собственную полную научную несостоятельность. Есть разница между рабочим у станка, работающим изо дня в день, – иногда буквально всю жизнь, – с однородными до мельчайших подробностей материалами, одними и теми же механизированными движениями, – и между научным работником, для которого каждая без исключения рукопись – описание, требующее от него каждый раз специальных знаний, справок, иногда минутных, а иногда столь сложных, что на них приходится тратить даже не один день. В самой работе над таким разнообразным материалом даже нельзя вывести никакого среднего показателя для установления нормы. А если таковой и будет все же выведен, он окажется искусственным, насильственным, созданным ради «красоты отчета». Все равно неизбежно что-нибудь из двух: или научный работник должен поставить крест на научной работе и кое-как тайно подгонять свою работу к требуемым от него показателям; или он должен махнуть рукой на показатели, заниматься научной работой и получать за свой добросовестный отчет нагоняй от администрации, так как его показатели никогда не сойдутся с показателями, выдуманными администрацией.

Как же быть? Значит, труд научных работников должен оставаться без учета? Но если не будет учета, не может быть и плана?.. А план необходим... Да, необходим... и тем более он не должен строиться на произвольных и на-

сильственных показателях.

Учет научной работы должен не предрешать своими показателями то, что научный работник обязан сделать в течение месяца; он должен лишь иметь итог – точный итог произведенной работы. Такой итог окажется тоже достаточно показательным, и он явится выражением работы за месячный срок. За администрацией – право контроля, право внимательного рассмотрения проделанной работы и ее критики по существу, а не по абстрактным и надуманным цифрам.

Другого действительного, не насильничающего над научной работой, не искажающего ее пути учета я не знаю. Возможность только такого пути усмотрена мною не на потолке административных кабинетов, а основана на многолетней моей – скажу без ложной скромности – всегда добросовестной работе.

Приблизительно также думали и думают все сотрудники Рукописного отделения – к сожалению, кроме Ухмыловой. Не будь она администратором, может быть, и она бы стала на сторону здравого смысла. Но известно, что администратору труднее, чем кому бы то ни было, сохранить в равновесии свои умственные способности.

Всем сотрудникам было ясно, что в Рукописном отделении должна начаться «эпоха великих реформ». Но чтобы не быть во многих отношениях плохо понятым, я должен, прежде чем говорить о дальнейшем, сказать о Т. К. Ухмыловой.

Трудно говорить о человеке, который еще не ушел в моем сознании в прошлое, с которым меня еще многое связывает в настоящем... трудно и опасно, так как уверенно говорить о ком-нибудь следует только тогда, когда в моих отношениях с этим человеком сказано последнее слово. Однако, я все-таки рискую думать, что будущее не заставит меня отказаться от того, что я хочу сказать об Ухмыловой...

Я должен начать с того, что совершенно не согласен с теми, кто характеризует ее как интриганку и дурного человека. Я проработал с нею 7 лет и поэтому признаю за собой право на суждение о ней, как о человеке. Именно как человек, Ухмылова отличается многими хорошими чертами. Она отзывчива и по природе добрая; не злопамятна... Я не представляю, чтобы она когда-нибудь могла сознательно сделать человеку гадость. В ней есть врожденная порядочность... Менее всего она – интриганка. Я уже говорил, что ее административные обязанности не заглушили в ней товарищеского отношения к сотрудникам и не наложили на нее «генеральского» отпечатка.

Но... справедливость требует сказать, что немало наберется и всяких «но»... Первое из них – ее действительно более чем скромный интеллект и слабых характерность. Синтез этих двух качеств был причиной многих бед. Пожалуй, это самый опасный вид синтеза в характере. Случается, что природа мудро компенсирует недостаток интеллекта общей культурностью и высоким образовательным уровнем (у нас, в Рукописном отделении, был блестящий пример такой компенсации в лице Римского-Корсакова). У Ухмыловой не было ни того, ни другого. Порок ее интеллекта, как бывает порок сердца, оказался декомпенсированным. Из этого порока (плюс слабых характерность) возникло упрямство,

не поддающееся никаким таранам самых убедительных доводов. Слабохарактерность компенсировалась упрямством. [Неравный] вид компенсации! Плохо было и то, что Ухмылова совершенно не умела управлять своим настроением. Наоборот, оно управляло ею... Настроение у всякого человека бывает различным, но не всякий позволяет ему отражаться на отношениях к людям и фактам. От настроения Ухмыловой в значительной мере зависело погода в Рукописном отделении. Прежде нежели обратиться к ней по какому-нибудь делу или с просьбой, нужно было справиться с барометром ее настроения. Если он стоял низко, она могла быть небрежной, резкой, нетактичной... Так бывало несколько раз и со мною. Я всякий раз давал решительный отпор ее резким фразам, и всякий раз дело кончалось тем, что в тот же день Ухмылова приходила ко мне под разными предложениями, и в разговоре старалась изгладить невыгодное впечатление. Бывали случаи, когда она прямо сознавалась в своей неправоте. Это было в ней ценно...

С ее натурой занимать административную должность – нелегко. Я думаю, она часто попадала в положение, при котором «ум с сердцем не в ладу». Ей постоянно приходилось быть хуже того, чем она была на самом деле. Выйти же с честью из этого положения ей мешала и слабохарактерность и ... малодушие, граничащее с трусостью. Я погрешил бы против истины, ничего не сказав об этих ее чертах. Эти черты проявлялись достаточно ярко в целом ряде примеров.

Трусость и малодушие заставляли ее говорить подобострастным тоном с директором, мешали ей в некоторых случаях энергично отстаивать интересы Рукописного отделения и его сотрудников, сделали ее участницей безобразнейшего «суда», организованного, кажется в 1936 или 1937 гг. над старейшими работниками библиотеки И. А. Бычковым, В. В. Майковым и В. Э. Банком<sup>43</sup>. В стенной газете появилась позорная статья, в которой говорилось, что эти сотрудники после Октябрьской революции бойкотировали советскую власть. И вот собрался библиотечный ареопаг для разбора дела. Я не был на этом возмутительном собрании... Бычков сказал буквально несколько слов, смысл которых был следующим: многие ли из интеллигенции после Октябрьской революции не бойкотировали советскую власть?.. Да, это было, пожалуй, единственное, что следовало ответить. По отношению к Бычкову и Майкову дело кончилось ничем. Банка же сняли с должности ученого секретаря. Эта история стала известна Н. К. Крупской, нашему непосредственному начальнику. Когда Ухмылова, командированная зачем-то в Москву, была у Крупской, та укоризненно сказала (Банк был лично ей известен): «Что же это вы старых работников обижаете? Много ли у вас есть молодых, которые могут их заменить?..» После этого Банка оставили в покое и назначили заведовать иностранным отделом.

В первый период своей работы в Рукописном отделении Ухмылова была гораздо более склонна к коренным реформам, чем стала впоследствии, когда она, – член партии, – оказалась консервативнейшим человеком из-за... «боязни обидеть стариков». Как всегда у нас бывает, в последние годы ударились в противоположную крайность, и «старики», ошельмованные и «судимые» несколько лет тому назад, теперь стали своего рода предметом культа, – особенно Бычков. Бесспорно, что раритеты такого рода должны беречься, что с ними нужно

считаться, но... также бесспорно, что лоб перед ними расшибать не следует, и интересы Рукописного отделения все же стоят выше опасений «обидеть» Бычкова или Майкова.

На этой почве происходили досадные инциденты. Одним из наиболее ценных архивов был архив историка Н. К. Шильдера<sup>44</sup>, к которому очень часто обращались читатели. Он находился в специальных картонах, но был расположен в них не в систематическом и не в хронологическом порядке, а в порядке, в каком он при жизни Шильдера находился в его кабинете. Одни бумаги имелись у него в бюро красного дерева, другие – в каком-то двойном шкафу правой стороны, третьи – в двойном шкафу левой стороны; так, механически, они и были уложены в наши картоны. Говорят, таково было желание самого Шильдера. Неразумные решения у нас исполняются охотнее разумных... На этот архив В. В. Майков составил описание, расположив в систематическом порядке (оно напечатано в «Отчетах ИПБ») и потому абсолютно не совпадающее с расположением материала в картонках. Была составлена какая-то, истинно каббалистическая, таблица «перевода» систематического описания на содержимое картонов. Я долго бился, пытаюсь ее упорядочить... Найти в архиве Шильдера нужный документ было настоящей мукой, а искать приходилось постоянно. Кроме того, Майковское описание, – само по себе неудачное и неточное, – устарело, не соответствовало действительному содержанию картонов и т. д. Над материалами Шильдеровского архива работал в последние годы акад[емик] Тарле<sup>45</sup>, постоянный посетитель Рукописного отделения. И вот однажды ему не могли найти документа, очень для него важного, хотя когда-то раньше он его уже видел. Перерыли несколько картонов, ахали, бегали, ужасались – так и не нашли! Тарле весьма саркастически и со скрываемым возмущением смотрел на беготню сотрудников и ушел, ничего не получив.

Отчасти уже знакомый с архивом Шильдера и числившийся специалистом по архивам исторического содержания, я предложил Ухмыловой свои услуги по составлению нового описания архива *de visu*. Только таким путем мы избавились бы от ежедневных мук нахождения в нем нужных документов и оградили бы себя от таких компрометирующих Рукописное отделение инцидентов, как с Тарле. Мое предложение горячо поддержала А. Д. Люблинская, здравомыслящий и культурный сотрудник Рукописного отделения. Но Ухмылова пришла от него в ужас, отказала наотрез, причем единственным мотивом отказа была боязнь обидеть Майкова... После этого я дал себе слово никогда не апеллировать к ее разуму.

Ухмылова очень любила Рукописное отделение. Всякая критика его порядков вызывала в ней чувство личного оскорбления. За все эти годы она отдала ему много сил и много времени. Результаты же не всегда бывали положительными, так как сама она была человеком крайне беспорядочным, безалаберным; у нее отсутствовало умение организовать работу и свою собственную, и всего отдела в целом. Поэтому часто случалось, что при лучших ее намерениях получалась чепуха, неразбериха. Сложные и большие вопросы решались ею не продуманно, а как-то с налета.

Тем не менее, я всегда был доволен, что работаю именно с нею. При всех

ее недостатках, в ней были и немалые достоинства.

Не так относилось к Ухмыловой большинство наших сотрудников, и в дальнейшем их недоброжелательное отношение к ней стало проявляться все более определенно.

Весной 1935 г. в Рукописное отделение был принят Ф. Я. Попов<sup>46</sup>, ранее состоявший сотрудником отдела обработки. Затем поступила А. Н. Михайлова<sup>47</sup>, немного позже – Б. И. Равкина<sup>48</sup>, Т. М. Казмичева<sup>49</sup>, Ю. И. Бронштейн<sup>50</sup> и, наконец, после всех – Н. В. Карпинская<sup>51</sup>. Е. Э. Гранстрем, окончившая аспирантуру, тоже была зачислена в Рукописное отделение. К Рукописному отделению был присоединен «Кабинет Фауста», т. е. отдел инкунабул, в котором работал В. С. Люблинский<sup>52</sup> и его помощница Н. В. Варбанец<sup>53</sup>.

За эти годы из прежних сотрудников выбыли Дашевский, Горбачев, Бердников, Кацнельсон, Ушаков, Равребе, Бенешевич и В. Г. Гейман.

О нем – несколько слов отдельно... Василий Георгиевич Гейман работал в Рукописном отделении, кажется, с начала революции. По специальности – историк, он занимался, главным образом, древнерусскими рукописями. В последние годы, когда Бычков одряхлел и ослабел, Гейман являлся буквально его правой рукой, помогал ему доставать из шкафов рукописи и ставить их обратно. Я не стану приводить тех отрицательных отзывов о нем, какие мне приходилось слышать. Может быть, авторы тех отзывов знали Геймана ближе меня... Я, кроме хорошего, ничего не могу о нем сказать. Он был ко мне, – новому и неопытному сотруднику, – всегда очень внимателен; меня привлекла в нем его простота, его несомненный ум с склонностью к скепсису и к легкому своеобразному юмору, его спокойное, – я бы сказал, философское, – отношение к разным невзгодам, волнующим событиям... На наших производственных совещаниях он всегда садился где-нибудь в уголке, позади, и говорил очень мало и редко, но всегда дельно, просто и кратко, в отличие от Бенешевича, который, единожды раскрыв рот, уже был не в состоянии его закрыть. Я слышал, что Гейман много пил. Судя по его лицу, пожалуй, так оно и было. Когда, благодаря каким-то мерзким интригам, он решил уйти из Рукописного отделения. Бычков был очень огорчен. Сообщая мне это печальное известие, старик чуть не плакал. В этом случае его не боялись «обидеть»...

\*\*\*

Теперь я хочу сказать кое-что о наших «новых фондах». Конечно, в них было немало ценного. В этом можно убедиться, просмотрев «Краткий отчет Рукописного отдела за 1914–1938 гг.», изданный библиотекой в 1940 г.

Наиболее ценными его частями, если не говорить о некоторых отдельных автографах и документах, я считаю архивы С. Н. Шубинского<sup>54</sup>, С. Ф. Платонова<sup>55</sup>, А. Н. Пыпина<sup>56</sup>, В. П. Гаевского<sup>57</sup>, К. А. Военкова<sup>58</sup>, из[дательств]а «Знание», пожалуй, А. В. Половцова и гр[афа] И. И. Толстого<sup>59</sup>. Все эти архивы, кроме архивов Военского и «Знания», мне хорошо известны, а архивы Шубинского и Платонова мною описывались. Замечу, кстати, что в «Краткий отчет Рукописного отдела» не был включен архив Гаевского, и вот почему... По году своего поступления в Рукописное отделение этот архив дол-

жен был относиться к старым фондам. Он был передан в Публичную библиотеку по желанию Гаевского, и одним из условий этой передачи являлось обязательство Библиотеки вскрыть архив только через 50 лет после смерти его владельца. Не помню, в каком году истекло это 50-летие, но во всяком случае оно еще не истекло тогда, когда Горбачев решил вскрыть архив – и вскрыл. Бычков, для которого воля завещателя была всегда законом, – возмутился и заявил, что он от этого архива отказывается – знать его не хочет. А так как к «новым фондам» он проявлял равнодушно-презрительное отношение, опальный архив постановили причислить к ним. Но когда печатался «Краткий отчет», почему-то решили его туда не включать. Так и остался этот ценный архив не описанным ни в одном отчете, да и вообще на него не имеется описи, если не считать кустарного перечня хранящихся в нем писем.

Очень ценным считалось у нас собрание Э. П. Юргенсона. Я с этим не согласен. Конечно, оно ценно, как обширная коллекция автографов всевозможных знаменитостей. В нем могут встретиться отдельные интересные письма. И только... Как во всякой коллекции автографов, в нем нет ни мельчайшей внутренней целостности. По существу, это своеобразный альбом – альбом на отдельных листках.

На архив С. Н. Шубинского настоящей описи нет. Я составлял только карточки на 20 тысяч с лишним писем этого архива. Карточка составлена элементарно, и моей мечтой было исподволь заменить их научно-составленными карточками... К этой работе полунелегальным образом я уже приступил и составил около 2000 карточек. Но ... моя болезнь ... война... Человек предполагает, а судьба издевается над его предприниманиями...

Зато по всем правилам искусства мною составлена опись на архив С. Ф. Платонова. С этим обширным и очень интересным архивом я провозился целый год.

Описью архива А. Н. Пыпина (исключительно эпистолярного) является список всех писем с приведением их содержания, составленный дочерью Пыпина – В. Ляцкой<sup>60</sup>.

Архивы К. А. Военского и «Знания», со свойственной ей аккуратностью и точностью, описала А. Н. Михайлова.

Зато не повезло архиву гр[афа] И. И. Толстого. Его у нас вообще почему-то недооценили, а, между тем, он очень интересен. Опись на него составил в свое время В. Г. Гейман, но составил ее, – не в укор ему будет сказано, – довольно нелепо, путанно в смысле систематизации материалов. Найти что-нибудь в нем, руководствуясь этой описью, было, кажется, еще труднее, чем в архиве Шильдера. В довершение всего при переноске из одного шкафа в другой архив рассыпали. Потом связали его просто в пачки. Так он и остался неразобраным.

Я отметил только те архивы из «новых фондов», которые мне кажутся наиболее интересными и цельными. Но немало интересного было и во многих других архивах.

Мне хочется еще вернуться к архиву С. Н. Шубинского. Это был мой любимый архив... Помещался он в специальном дубовом шкафу, к которому была



привинчена медная доска с соответствующей надписью. Так, в этом шкафу, он и был передан в Рукописное отделение наследниками Шубинского в 1914 г. Все 20 тысяч с лишним писем этого архива были переплетены Шубинским в изящные тома; на большинство годов было по 4 тома, а внутри томов письма располагались в алфавитном порядке корреспондентов. Таким образом, архив Шубинского своим порядком и аккуратностью походил на его владельца. Аккуратность Шубинского, доходившая до педантизма, много раз отмечалась его корреспондентами. А. С. Суворин<sup>61</sup>, – его личный друг, связанный с ним и многочисленными деловыми обязательствами, – в письмах к нему подсмеивался над этой аккуратностью. По-моему, не столько был аккуратен Шубинский, сколько неаккуратен русский человек. Нигде так легко ни прослыть аккуратным, как в России. В Западной Европе или в Америке аккуратность Шубинского никем бы и не замечалась, так как там она – рядовое явление, тем более в человеке деловом, в редакторе большого, распространенного издания. У нас же такой редактор – исключение, на которое диву даются.

Кстати, я упомянул о А. С. Суворине... В архиве Шубинского хранится несколько сотен его писем. Они выделены из других писем и переплетены в особые томики. Я довольно основательно с ними ознакомился и горько пожалел о том, что в наше время Суворин – фигура одиозная... Если бы не его одиозность, эти письма следовало бы непременно издать, и при других условиях они бы, конечно, были изданы, – столько в них ума, – ума своеобразного, сильного, яркого, – столько в них глубоко интересных, и таких всегда своеобразных, суждений в области литературы, искусства; смелых и глубоких характеристик... Так великолепны они стилистически... Так интересно и живо они характеризуют самого Суворина! Несомненно, это был один из умнейших русских общественных деятелей. Я сделал однажды попытку напечатать наиболее интересные его письма. «Красный архив» принял их для напечатания. Но... в последний момент не пропустила цензура. Не потому, что в этих письмах было что-нибудь страшное с современной точки зрения, – нет! Они были слишком умны, в них содержалось слишком много верных суждений..., другими словами, они давали о Суворине выгодное представление. А это – нецензурно!.. Черт должен быть черным... Для меня немаловажное значение имеет факт длительных дружеских отношений Суворина с таким лицом, как Чехов. Финал этих отношений – накал от досадных случайностей. Но сколько же и как жадно один большой ум тянулся к другому большому уму!.. Суворин заслуживает серьезного, обстоятельного труда о нем... И тема так интересна, что я не отказался бы от чести явиться автором такого труда. Но все сие – бессмысленные мечтания!

За время моей работы над архивом Шубинского я сроднился с самим Шубинским; мне стало близко и интересно все, относящееся к нему. Шубинский стал для меня живым человеком, и – вот нонсенс, – прекрасно видя все его недостатки (и не мелкие), я, тем не менее, его полюбил...

Наряду с ценными архивами, немало в «новых фондах» было того, что с моей точки зрения является не подлежащей хранению макулатурой, хотя эта чепуха и именовалась громко «архивом». Например, «архив Л. А. Саккетти»<sup>62</sup>... Весь он помещался в каком-то дрянном деревянном ящике и состоял из разроз-

ненных черновиков разных статей Саккетти и набросков к его «Эстетике». Кроме того, там было несколько незначительных писем, какие-то проспекты заграничных изданий и все. Для чего это хранить? Кому это понадобится? Кому могут быть нужны черновики давным-давно напечатанных и никогда уже никем не читаемых статей бездарного и нудного профессора?

Или, например, целая связка писем неведомых лиц, – писем по содержанию исключительно семейного, узко личного характера, бесконечные поздравления с церковными и семейными праздниками, рассказы о разных Женях, Колях, Володах, Ксюшах и т. п. Мне иногда возражали, что и такая переписка может иметь некоторый интерес с точки зрения чисто бытовой.

Если согласиться с этой точкой зрения, тогда Рукописное отделение станет хранилищем всякой ерунды, среди которой потонет то, что имеет действительный интерес. Тогда вообще отпадает понятие макулатуры в архивных материалах. Письма, подобные тем, о каких я сейчас говорил, не имеют никакой ценности и в бытовом отношении. Историк, интересующийся бытом начала XX в., найдет достаточно материала и в письмах более содержательных, и помимо писем... Хранить частную переписку никому не известных лиц следует только в том случае, если в ней в какой-то мере отражены или события общественно-политической, культурной жизни той эпохи, или она дает сведения о каких-нибудь более или менее известных лицах, или, наконец, представляет собою психологический интерес.

\*\*\*

«Эпоха великих реформ», которую ждали с нетерпением «молодые» сотрудники Рукописного отделения, не осуществилась. Все реформы свелись к введению учета работы, да к некоторым техническим и хозяйственным улучшениям.

Патриархальная система Бычкова осталась неприкосновенной. Фонды (старые) по-прежнему были отделены от сотрудников, не учтены, не приведены в известность. Трудно поверить, – но это факт! – что в рукописном хранилище мирового значения ни заведующий этим хранилищем, ни сотрудники часто не могли выяснить, где находится какой-нибудь архив; что в этом хранилище нет каталога на все его рукописи и архивы, – каталога, по шифру которого можно было бы в несколько минут достать из шкафа требуемый архив или документ, как достают в библиотеке с полки книгу. Я всегда поражался: сколько времени тратили мы иногда на работу совсем второстепенного значения, – а необходимейшую, срочную работу не делали! Оказывается, не делали ее потому, что не хотел Бычков. А Бычков не хотел потому, что с ревнивым эгоизмом старости считал только себя достойным проникать во все тайны всех шкафов, надеялся только на свою память... Его боялись «обидеть» – и молчали. Но как не понять, что после смерти Бычкова (а ему 83 года!) будет в тысячу раз труднее исполнить эту работу, что нужно непременно использовать его память и опыт. Без Бычкова многие материалы окажутся ребусами...

«Молодежь» Рукописного отделения, все это прекрасно понимала, и против Ухмыловой, которая должна была бы проводить все реформы, постепенно создавалось резко оппозиционное настроение.

Был и еще один больной для сотрудников вопрос, благоприятного решения которого мы добивались (и не добились), что еще обострило это настроение. Дело в том, что сотрудники Рукописного отделения всегда совершенно официально 20% своего рабочего времени не только имели право, но даже были обязаны употреблять на так называемую «научную работу». Под этим понималась, главным образом, подготовка к печати различных материалов Рукописного отделения по выбору самих сотрудников. Мы очень дорожили этим нашим правом. Особенно оно было ценно тогда, когда приходилось разбирать какой-нибудь неинтересный архив или эпизодически заниматься работой ни мало не научной. Мы знали, что выполнив полагающуюся нам норму, мы можем остальное время употребить на работу для нас интересную, содержательную. Приблизительно с конца 1938 г. нам объявили об отмене часов на «научную работу». Все часы должны отдаваться работе только производственной. Все наши многократные попытки доказать необходимость часть времени уделять научной работе, хотя бы и теснейшим образом связанной с текущей работой Рукописного отделения (например, научных описаний какого-нибудь архива), не привели ни к чему.

Полнейший субъективизм, царивший в наших описаниях архивов, поставил нас перед необходимостью разработки Инструкции по описанию.

С этой целью в конце 1939 г. было созвано производственное совещание, на котором постановили организовать специальную комиссию для выработки инструкции. В состав комиссии, по предложению Попова, выбрали Люблинскую, Майкова и меня. Фактически же заседания комиссии всегда происходили при гораздо большем составе сотрудников, так как многим было интересно послушать наши мудрые рассуждения.

После выработки общей прелиминарной части, мы перешли к слушанию докладов по более частным вопросам. Каждый из нас должен был к заседанию Комиссии подготовить какой-нибудь из разделов инструкции. Доклады, насколько помнится, были распределены следующим образом: Никольская – описание писем, Равкина – описание сборников, Майков – описание древнерусских рукописей, Михайлова – описание русских автографов, Казмичева – описание переводов, Бронштейн – описание официальных документов, Люблинская – описание западноевропейских рукописей, Гранстрем – описание греческих рукописей. Не помню, как была формулирована тема Ухмыловой; [кажется], она относилась к древнерусским рукописям, но в каком отношении она находилась с темой Майкова, – не вспомню.

Наши заседания, происходившие в моем углу, проходили очень живо и интересно. На некоторых из них было достаточно элемента комического, на других – трагикомического.

Серьезно подготовились к своим докладам Михайлова, Люблинская, Бронштейн и я. Остальные отделялись какими-то заметками, разбросанными и случайными. А некоторые совсем «спасовали»...

Мы много смеялись на докладе Римского-Корсакова, который написал его каким-то странным языком, полным философских терминов, неуместных в Инструкции сравнений и т. п. Вначале несколько обескураженный нашей кри-

тикой, он потом стал искренне смеяться вместе с нами и не выказал ни разу обиды, когда мы единогласно решили, что его проект инструкции по описанию нот должен быть совершенно переделан.

Комичный эпизод произошел с Казмичевой. Она была, вообще, человеком довольно странным (о чем я в свое время скажу), очень нервным, застенчивым. Выступать, хотя бы среди своих товарищей по Рукописному отделению, с каким-нибудь заявлением, докладом было для нее сущей пыткой. Когда час этой пытки настал, Казмичева с видом мученицы подошла к нам, нервно теребя в руках маленькую муфточку, с которой она зимой не расставалась, и заговорила: «Ну, вот... описание переводов... перевода... переводы описаний... переводные рукописи... ну, вот...» И она умолкла. Я, весьма плохо управляющий своими «смешливыми» центрами, не выдержал и расхохотался, а за мной и остальные. К счастью, она отнеслась к нашему смеху снисходительно.

Хуже было с Майковым. К своему докладу подготовиться он не потрудился и прочел нам по тетрадке несколько общеизвестных палеографических истин общего характера. Когда он кончил, Люблинская в него так и вцепилась и, не щадя старика, разнесла его доклад, как говорится, на все корки. Ее поддержали и другие. Майков весь, включая лысину, побагровел, разорвал свою тетрадку, бросил в корзину для бумаг и, что-то пробормотав, вышел. Потребовалось потом все дипломатическое искусство той же Люблинской и Попова для того, чтобы его несколько успокоить.

Почти то же самое произошло и с Ухмыловой. Она прочла нам что-то длинное, элементарное и маловразумительное. Люблинская и в нее вцепилась мертвой хваткой, не оставив от ее доклада камня на камне, и большинство из нас также ее поддержало. Ухмылова очень обиделась, стала возражать резко и бестактно, допустив какой-то выпад против комиссии. На этот выпад ответил я, и тоже довольно резко. Ухмылова была из тех, кому нужно давать решительный отпор в то время, как они «разойдутся». После моей отповеди она сразу изменила тон, даже стала сама подсмеиваться над своей неудачей, и все окончилось благополучно.

Сводку всех наших докладов и вводную часть к инструкции делали летом 1940 г. Люблинская и Гранстрем. Когда сотрудники с ней ознакомились, она никого из них не удовлетворила. В декабре 1940 г. производственное совещание постановило ее переработать, поручив это Люблинской, Михайловой и мне. Мы принялись за работу, но... моя болезнь, война...

\*\*\*

В целях «повышения квалификации» «молодых» сотрудников, нам, кажется, с конца 1935 г., было предложено пройти семинарий по древнерусской палеографии у В. В. Майкова. Семинарий этот проводился в рабочее время раз в неделю по полтора часа. Сама по себе мысль была совершенно правильная. Старики находились в таком возрасте, что давно нужно было подумать об их «смене», а кроме Геймана, никто из наших сотрудников прочесть не мог даже устава или полуустава, уже не говоря о старинной скорописи. К сожалению, хорошая идея воплощается в жизнь плохим исполнителем.

В. В. Майков в своей области был, конечно, человеком очень большой

эрудиции. Но, как педагог, он оказался совсем плох, да и заметно было, что его самого эти занятия мало интересовали; он дорожил ими лишь из-за некоторой материальной выгоды.

Прочитав нам несколько вступительных лекций, он перешел к практическим занятиям по чтению устава и полуустава.

Почему-то у меня сначала дело шло плохо, я становился в тупик даже перед нетрудными рукописями, и это меня повергало в великую досаду. Однако, досада оказалась хорошим двигателем: я решил ежедневно прочитывать по кусочку устава и полуустава и в краткий срок добился значительных успехов.

Очень бегло Майков ознакомил нас с водяными знаками, с особенностями бумаги, переплета. Нужно было бы непременно давать нам какие-нибудь несложные рукописи для их хотя бы формального описания. Он этого не делал, так что результатом наших довольно продолжительных занятий было только то, что мы с грехом пополам научились читать устав и полуустав.

На следующий год начали знакомиться со скорописью. Снова я оказался плохим учеником. Досадовал и злился на себя еще больше. Летом я забрал с собой на дачу руководство по скорописи (кажется, Бычкова?), и самостоятельные занятия дали опять мне гораздо больше, чем занятия групповые.

Когда с осени эти занятия возобновились, я почти сразу оказался чуть ли не «первым учеником». Последний год занятия проходили довольно оригинально. Мы не собирались в группу, – таково было наше желание, – а каждый сидел на своем месте. Майков же всех обходил и поочередно проверял наше чтение.

\*\*\*

Давно прошли те времена, когда мне казалось неуютно и одиноко в Рукописном отделении. Теперь я чувствовал его, как свой второй дом: я, можно сказать, нежно любил мой угол у окна, среди ясеневых шкафов, такой веселый и приветливый по утрам, когда он весной и летом бывал залит солнцем, и когда из моего окна так отраднo было смотреть на густую зелень Екатерининского сквера. Все сотрудники Рукописного отделения любили мой «угол» и, кажется, ни у чьего стола не заводилось часто таких откровенных, задушевных разговоров, как у моего. Бывали дни, когда эти разговоры очень мешали мне работать, но с другой стороны, я ценил то, что всякий шел ко мне – или посоветоваться, или поделиться какой-нибудь новостью, или – увы! – пожаловаться на кого-нибудь.

Мои отношения со всеми без исключения сотрудниками были прекрасные. С одними – ближе, с другими – дальше, но все были мне близки, как товарищи по моей любимой работе. Никогда, нигде так хорошо я себя не чувствовал, как в Рукописном отделении.

16 декабря 1938 г. я притащил из дома чайник, и с тех пор в 1 час дня у нас организовывалось чаепитие. Наша милая техническая сотрудница, Мария Федоровна Б...<sup>63</sup> приносила из буфета кипяток, заваривала чай, мы доставали свои завтраки, и начиналось чаепитие. Оно происходило опять-таки в моем «углу». Я сидел на своем месте, остальные располагались вокруг. Какие откровенные, интересные, – часто далеко затягивающиеся за полчаса, – разговоры

у нас происходили! Сколько бывало смеха, остроумия!.. Мне много раз говорили, что следовало бы каждый раз записывать темы бесед во время наших чаев... Я все собирался это сделать, – и не собрался.

А. Н. Римский-Корсаков первое время не присоединился к нам и пил чай у себя за шкафами, из своего термоса. Но веселое оживление нашего «угла» вскоре заставило его присоединиться к нам, хотя еще со своим термосом. Еще немного времени – термос был им оставлен, и он стал пить чай с нами.

Все сотрудники очень любили «чайный перерыв». Иногда у нас поднимались такой шум и смех, что кто-нибудь прибежал из смежного с моим залом Читального зала и просил быть потише.

Все проходит...

\*\*\*

Всю войну с Финляндией мы просидели в темноте, т. е. с закрытыми железными ставнями, причем я удостоился высокой чести: ставни на моем окне собственноручно закрыл директор Публичной библиотеки А. Х. Вольпер<sup>64</sup>. Он явился в Рукописное отделение проверить, закрыли ли мы там ставни. Мое окно было еще не закрыто. Вольпер подошел к моему столу и, указав на окно, категоричным тоном заметил: «Это надо закрыть...». «Знаю, – также категорично выдал я. – Я жду техническую сотрудницу». – «А разве без нее это так трудно?» Меня и вопрос, и тон Вольпера возмутил, и я довольно резко ответил: «Да, состояние моего здоровья не позволяет мне лазить по столам и закрывать железные ставни». Вольпер, не сказав больше ни слова, взобрался на стол и закрыл ставню. Я его поблагодарил. Это был за все время мой единственный разговор с ним.

Он производил впечатление очень неприятное. Высокомерный при полном невежестве... Сотрудники его не любили. Вот малый, но характерный для него, факт. Во время таяния снега с крыши протекло в отдел эстампов, попортило ценные книги. Попов пришел к Вольперу и заявил, что вода заливает книги, нужно принять экстренные меры. «Что же, я пальцем крышу заткну?» – грубо ответил Вольпер.

Нигде, никаким авторитетом пользоваться он не мог. Это отзывалось очень отрицательным образом и на отношении многих «верхов» вообще к Публичной библиотеке.

\*\*\*

Слово «я» не сходило с ее языка. Работу в Рукописном отделении она совмещала с работой в Центрархиве и во время наших чайных перерывов постоянно говорила о том, как ее там любят, ценят, хвалят, как высоко стоит ее авторитет, сколько человек находятся в положении ее подчиненных и т. п.

Мы слушали, незаметно переглядываясь. Михайлова не уставала гарцевать на конях своих достоинств.

Обидчива она была невероятно. Обойти ее премированием, не упомянуть где-нибудь ее фамилии, попытаться критиковать ее работу значило ее оскорбить; она даже не умела скрыть свою оскорбленность, сразу принимала или надутый, или разъяренный вид и отправлялась к кому-нибудь из высшей администрации восстанавливать справедливость. Ухмылова, по свойственной ей трус-

ливости, очень этого боялась и поэтому спускала Михайловой с рук то, что не спустила бы другим. Такая тактика, разумеется, приводила лишь к тому, что Михайлова, все больше убеждаясь в безнаказанности своих выходов, совсем терроризировала Ухмылову.

Справедливость требует сказать, что Михайлова была хорошим работником. Несомненно, она была и знающим человеком. Тем обиднее становилось за нее, когда она так наивно и неумно старалась подчеркнуть и то и другое.

Для меня было и осталось загадкой: как совместить мелкое, неумное тщеславие Михайловой с ее (для меня несомненным) умом? Как правило, эти понятия взаимоисключаются. А здесь они уживались, каким-то непостижимым для меня образом, рядом.

Наряду с другими, Михайлова была нередким посетителем моего «угла», и мы с ней тут немало беседовали, – главным образом, на литературные темы. Она происходила из Орловской губ[ернии], я – из Тульской, и наши беседы часто посвящались воспоминаниям о родных нам местах.

Михайлова во многих отношениях оказывала мне перед другими сотрудниками предпочтение. Во всяком случае, она относилась ко мне лучше и теплее, чем к другим, и, кажется, мое мнение никогда не расценивала, как мнение человека малограмотного. Мы с ней охотно обращались друг к другу за советами.

В конце концов, несмотря на свои многие отрицательные черты, Михайлова никогда не была мне антипатична, так как я видел в ней и положительное, и, кроме того, чувствовал, что ее ко мне влечет какая-то общность интересов, отчасти мировоззрения, а отчасти то непостижимое, что является самым могучим рулем и ветрилом человеческих отношений, из чего развивается безотчетная симпатия или антипатия, и что чаще всего не поддается анализу.

\*\*\*

Нехорошо дурно отзываться о людях, которые хорошо относятся ко мне. С другой же стороны – «Платон мне друг, но истина дороже друга»... Эта сентенция пришла мне в голову в связи с тем, что я хочу сказать о Берте Израилевне Равкиной. Она поступила к нам весной 1937 г. Хорошо помню, как, в противоположность другим вновь поступившим сотрудникам, молчаливо и незаметно водворившимся на своих местах, она обходила каждого из нас, называла себя и здоровалась. Мне это в ней понравилось... Как я узнал несколько позже, она поступила к нам по протекции Ухмыловой, с которой уже давно была знакома и находилась в дружеских отношениях. До этого времени Равкина преподавала в «комвузе» – не помню в каком, но, кажется, в Толмачевском<sup>65</sup>. Кажется, там она и познакомилась с Ухмыловой. И работа, и общая атмосфера Рукописного отделения с самого начала должна была казаться ей нудной. Так оно осталось и потом: Равкина без конца жаловалась на неинтересность, сухость и даже ненужность нашей работы, противопоставляя ей работу педагогическую. В Рукописном отделении, особенно в первое время, она должна была себя чувствовать очень одинокой. Этому способствовало, к стыду нашей интеллигенции, и то обстоятельство, что она была еврейкой.

Я думаю, что Ухмылова, которой было известно мое отношение к евреям,

что-нибудь ей по этому поводу говорила. Тогда становится понятным, почему Равкина сразу же стала льнуть ко мне... Может быть, она и сама вскоре почувствовала, насколько для меня «нет ни эллина, ни иудея». Она пользовалась всяким случаем, чтобы вступить со мной в длинные разговоры. Я переносил это, скучая, но терпеливо, так как видел, что она одинока. Мало-помалу я привыкал к ней, знал все обстоятельства ее личной жизни; она подробно делилась со мной всей историей болезни ее матери, умиравшей от рака гортани. Последнее обстоятельство нас очень сблизило, так как не мог же я оставаться равнодушным к несчастью такого рода. Один раз, весной 1938 г., я, придя в Рукописное отделение, подошел к Равкиной: она посмотрела на меня полными слез глазами и сказала: «Нет больше у меня мамы...» Я хотел что-нибудь ей сказать, хотя до ужаса боюсь всяких слов в такие минуты и по таким поводам, но почувствовал, что и у меня слезы подступают к горлу. Равкина это заметила и, пожав мне руку, сказала что-то вроде того, что я должен успокоиться, не нервничать... Я поспешил отойти от ее стола.

Сблизиться с Равкиной по-настоящему я не мог, и этому было немало причин. На меня раздражающе действуют люди, постоянно говорящие ноющим тоном, вздыхающие и никогда не довольные своей судьбой. Равкина принадлежала к их числу. Казалось, ее ничего не могло увлечь, воодушевить, зажечь, как безнадежно отсыревшую спичку. Я прозвал ее «панихидой». Затем, она была неумна и сравнительно малокультурна. Когда ей приходилось писать какую-нибудь заметку, статейку, она всегда приходила ко мне с просьбой просмотреть и исправить, и я поражался ее полной беспомощности, и мыслительной, и стилистической. Все, что она писала, как две капли воды, походило на ученические сочинения старших классов.

Обидчивости и мелкого самолюбия было и в ней достаточно. Была она заметно скуповата. На завтраки она приносила огромные ломти булки, на которых сиротливо лежали два маленькие, тоненькие ломтика колбасы. Равкина откусывала булку, а ломтики колбасы постоянно все передвигала и передвигала, оставляя их на самый конец. Я называл ее бутерброды «передвижными». Здесь дело было совсем не в материальной недостаточности: Равкина и ее муж оба работали, детей у них не было...

Возмущало меня в ней то, что «по дружбе» она информировала Ухмылову обо всем, что говорилось между сотрудниками, и в некотором смысле ее информация равнялась доносу, о чем однажды, в присутствии свидетелей, сказал ей Попов. После этого инцидента она с ним долго не разговаривала и не кланялась.

Благодаря протекции от Ухмыловой, Равкина получала всегда интересную работу, вела научные описания рукописей Гончарова, Щедрина и все-таки ворчала и вздыхала. Работала она небрежно, так сказать, «грязно», и потому стычки с Поповым у нее происходили чаще, чем у других.

Перед своей смертью А. Н. Римский-Корсаков начал разбирать переданный в Рукописное отделение архив А. К. Глазунова. Когда Римский-Корсаков скончался, Равкина какими-то неисповедимыми путями сумела добиться того, что получила для научного описания все письма из этого архива. Среди них



было немало очень интересных и ценных, как, например, переписка Глазунова с Н. А. Римским-Корсаковым. Конечно, для научного описания писем композиторов не нужно самому быть музыкантом, но нужно знать историю русской музыкальной жизни того периода, иметь какое-то самое общее музыкальное развитие. У Равкиной этого абсолютно не было, и тем не менее, она храбро взялась за дело.

Вообще, у нее была абсолютно не развита чуткость к архивному документу; вернее, она совсем отсутствовала, а иногда граничила с недопустимой – не в архивисте даже, а просто в культурном человеке, – невежественностью. Так, например, она чуть ли не современную нам, писарской рукой написанную, копию с одного письма императрицы Марии Федоровны (жены Павла I) приняла за подлинник.

По этому поводу мне вспомнился один эпизод. Покупкой и экспертизой рукописей ведали Ухмылова и Бычков. Однажды с абонемента звонят нам по телефону и говорят, что пришли какие-то молодые люди и хотят предложить Рукописному отделению неизданную рукопись Пушкина! Шутка сказать... Ни Ухмыловой, ни Быčkova на месте не было. Я поднялся наверх – посмотреть рукопись. Двое юношей торжественно мне преподнесли написанный на листах писчей бумаги, тоже писарским почерком не ранее конца XIX в., отрывок из «Медного всадника». Мне оставалось только улыбнуться, разочаровать молодых людей и порекомендовать им прочесть эту поэму.

Когда на место Римского-Корсакова поступила А. С. Ляпунова<sup>66</sup>, – дочь композитора, – она в передаче писем из архива Глазунова Равкиной усмотрела некоторую узурпацию своих прав. В этом она, может быть, была и неправа, но безусловно права была в том отношении, что нельзя дробить архив. Одно лицо должно работать над всем архивом в целом. Однако, письма остались все-таки у Равкиной.

Не могу не отметить, что меня часто очень трогало отношение Равкиной ко мне, но отвечать ей искренней дружбой я не мог, хотя наши отношения до самого конца оставались самыми хорошими.

\*\*\*

Я хочу еще немного сказать о Публичной библиотеке вообще... Рукописное отделение было всегда своего рода государством в государстве; многие черты, характерные для Публичной библиотеки в целом, в нем отсутствовали, и наоборот: некоторые специфические черты Рукописного отделения оставались чужды Публичной библиотеке. Я в течение всего времени очень далеко стоял от общей жизни Публичной библиотеки, отчасти поступая так умышленно, ибо в этой общей жизни было немало мне несимпатичного. Я так широко пользовался моей привилегией быть подданным нашего «государства в государстве», что за семь лет не остался ни разу ни на одно общее собрание, ни на одно занятие какого-нибудь кружка, ни на одно собрание месткомовское.

Но, разумеется, у меня все же не могло не сложиться некоторых наблюдений, впечатлений за 7 лет. Я не раз ставил перед собой вопрос: почему книгохранилище мирового значения, каким по праву считается Публичная библиотека, находится в таком загоне у сильных мира сего? Ответ я давал всегда один

и тот же, а именно: по вине бездарных и ничтожных руководителей Публичной библиотеки.

Корф<sup>67</sup>, Бычков<sup>68</sup>, Шильдер, Кобеко<sup>69</sup>, Радлов<sup>70</sup>, Марр<sup>71</sup> – все это были или крупные ученые, или, во всяком случае, высококультурные люди, любившие и знавшие книгу, понимавшие не с чужого голоса, не из строчки газетной статьи, а всем своим существом ценность доверенного им книгохранилища. Это были люди, с которыми считались и в научном мире, и в мире высшей администрации; их знали... Пост директора Публичной библиотеки был высоким постом, которого многие добивались, как большой чести.

Кто же пришел на этот пост после смерти академика Марра? Бездарный чиновник Добраницкий, а после него, кажется, еще более бездарный и невежественный, хотя и весьма высокого о себе мнения, Вольпер! Таков печальный путь истории управления Публичной библиотеки. Кому эти люди могли импонировать? Кто их знал? Кому были известны их заслуги? Они могли бы, при отсутствии других данных, необходимых для директора Публичной библиотеки, быть хотя бы хорошими администраторами, хозяйственниками, – так и этого не оказалось.

Возможно ли положение, при котором директором какого-нибудь медицинского научно-исследовательского института, и при том директором, ответственным не только за его административно-хозяйственную, но и научную жизнь, было бы лицо, ничего общего с медициной не имеющее? Или чтобы директором какого-нибудь завода, изготавливающего точные приборы, был человек, не имеющий понятия о изготавливаемых приборах и о нужном при этом оборудовании?

Почему же огромное культурное учреждение, включающее в свои многообразные функции и научную работу, может руководиться кем попало? Не должно ли такое руководство гибельным образом отражаться на этом учреждении? Конечно, да... Тем более это так, когда во главе важнейших отделов Публичной библиотеки оказались люди заведомо бесталанные, но зато весьма прочно усвоившие важный тон и начальственную осанку. Может быть, в библиотеке среднего значения все эти Орловские<sup>72</sup>, Басовы<sup>73</sup> и прочие иже с ними были бы полезными работниками и хорошими руководителями, но для Публичной библиотеки они слишком мелки, они не в силах охватить подавляющее их своей громадностью хозяйство их отдела, у них нет достаточного научного опыта, достаточного знания. Они метались из стороны в сторону, подменяя действительную работу показной, бутафорской, создавая своего рода «потемкинские деревни», предпринимая разные никому не нужные, мелкие преобразования, почти всегда неудачные, или придумывая необъятные по широте своего размаха, фантастические проекты.

Практически же они не сумели использовать для улучшения положения библиотеки и ее служащих даже 125-летний юбилей библиотеки. Когда Крупская спросила у посетивших ее перед юбилеем представителей Публичной библиотеки (в их числе была и Ухмылова), в чем они видят ее насущные нужды, эти горе-предводители хранили испуганно-почтительное молчание, из которого Крупская должна была заключить о полном благоденствии и отсутствии нужд

в этом счастливом учреждении. А между тем, сотрудники Публичной библиотеки получали позорно-низкие оклады, все об этом постоянно говорили, жаловались; многие ценные работники из-за этого из Публичной библиотеки уходили... И вот оказалось, что никаких насущных нужд у Публичной библиотеки нет. Оказалось, что сотрудники Публичной библиотеки живут в Аркадии счастливой!

За время моей работы в Публичной библиотеке я ни от одного ее сотрудника не слышал хорошего отзыва ни о Добраницком, ни о Вольпере.

Добраницкий взял на себя роль реформатора Публичной библиотеки по части чистоты. Должно быть, он начитался Станюковича и вообразил себя адмиралом на большом корабле, – адмиралом из числа тех, которые за малейшую соринку на палубе били по лицу всех тех, кого им бить по дореформенному уставу полагалось. Очень хорошо, что под его руководством с книг был счищены целые ведра вековой пыли, лежавшие на книгах твердым, толстым слоем; очень хорошо, что по всем залам Публичной библиотеки гудели пылесосы, и уборщицы с утра до вечера бегали с мокрыми швабрами и тряпками, а сотрудники выделявали на скользком каменном мокром полу отчаянные salto-mortale, чтобы не упасть... Но еще было бы лучше, если бы, наряду с этим, директор Публичной библиотеки подумал и позаботился о целом ряде не менее важных вопросов. В частности, о том, чтобы при ремонте парового отопления в незапирившиеся шкафы Рукописного отделения на набиралась мелкая известковая пыль вперемешку с мелкими камешками, а именно такое соединение мы долго вытряхивали из архива Пыпина... или о том, чтобы от сырости не покрывались плесенью письма матери Тургенева и другие рукописи, разрушавшиеся на наших глазах.

Манией директора заразился и основной высший персонал Публичной библиотеки. Нельзя же отставать или плыть против течения!..

Кажется, в конце 1935 г. Публичную библиотеку изволил посетить народный комиссар просвещения Бубнов. О дне и часе, в оный он придет, конечно, все были уведомлены. Рев пылесосов, шарканье швабр, шлепанье мокрых тряпок составило в то утро целую симфонию. Все волновались, бегали, – один я сидел, как всегда, в своем милом «углу». Час пришествия приближался...

В Рукописное отделение явился Банк, еще бывший тогда ученым секретарем. Его лицо, напоминавшее морду очень тощего поросенка, было озабоченно и встревожено. Он пробежал по нашим залам – посмотреть, все ли в порядке. В одном из зал Банк увидел на полу крошечный клочок бумаги и поспешно поднял его. К счастью, мне было пора уходить в ДИТР<sup>74</sup> и, таким образом, я избавился от чести лицезрения нашего министра.

При посещении Рукописного отделения он выказал, подобно Добраницкому, склонности станюковических адмиралов, т. е. изволил своей сановной ручкой провести по какому-то шкафу и остался весьма недоволен, обнаружив там пыль. Кажется, этим и ограничилось его знакомство с Рукописным отделением.

Всяких нелепых мероприятий предпринималось правителями Публичной библиотеки достаточно. Так, например, огромный отдел периодики был пере-

веден в нижний, а частью в подвальный этаж, разбросан по разным закоулкам. При сильном наводнении часть журналов, находящаяся в подвале, непременно окажется затопленной. Внизу, на месте Восточного отдела, устроили большой «лекционно-выставочный» зал, затратив на него немало средств, и решительно ни на что не нужный. За время его существования в нем, по-моему, не читалось ни одной лекции, а устраиваемые там выставки по количеству их посетителей уподоблялись аравийской пустыне. Абонемент был загнан в неудобное, тесное помещение, и в час его наибольшей посещаемости там происходила настоящая давка. Кроме того, по-моему, такому учреждению, как Публичная библиотека, просто неприлично иметь для абонемента подобное помещение.

Администрация занималась всякими «благоглупостями» и не обращала внимания на катастрофическую утечку книг и журналов. А в этом отношении творилось ужасное... Я уже и раньше привел достаточно фактов. Старый сотрудник журнального отдела Н. В. Смирнов<sup>75</sup> рассказывал мне, что у нас тут пропали целые комплекты ценных изданий; в том числе комплект сатирических журналов за 1905 г. Как он пропал?.. Он был выдан по межбиблиотечному абонементу редакции какого-то петербургского журнала или газеты, и ... исчез! Смирнов горько жаловался мне на полное равнодушие дирекции Публичной библиотеки к таким фактам.

Кстати, несколько замечаний о пресловутом «межбиблиотечном абонементе». При другом, более культурном, отношении к книге, чем у нас, межбиблиотечный абонемент – вещь полезная, хотя при непременных ограничениях. Но в наших условиях он часто является злом. Книги задерживаются, портятся, теряются, из них выдираются листы и т. п.

Акт вандализма по отношению к книгам наблюдался достаточно часто и в Публичной библиотеке. Вырванные из энциклопедических словарей листы – дело обычное. Библиотекарь Главного читального зала рассказывал мне, что двое молодых людей выписали для чтения годовой комплект вечернего выпуска «Красной газеты», в которой печатались шахматные задачи. Когда они вернули комплект, оказалось, что все эти задачи ими вырезаны. У меня был недавно в руках том «Вестника иностранной литературы», из которого аккуратно вырван целый роман. Из «Истории СССР» для высших учебных заведений я обнаружил вырванные главы – страниц 60–70. Это то, что случайно попало мне в руки только за самое последнее время. А сколько таких «умученных» книг, журналов, газет!

Между тем, вопреки всем правилам, некоторые библиотеки, получая по межбиблиотечному абонементу книги, дают их своим читателям на дом. Тут уж полный простор вандализму!

Межбиблиотечный абонемент – роскошь, которую возможно допускать только в отдельных случаях, а не возводить в нормальное явление. Межбиблиотечный абонемент для библиотек того же города – уже совсем недопустимая роскошь. Житель Петербурга всегда мог и может придти для чтения нужной ему книги в Публичную библиотеку. Рассылать же из Публичной библиотеки книги по своему же городу, значит только заниматься баловством читателя в ущерб книге, да и в ущерб самой Публичной библиотеке.

У нас, вообще, неразумно балуют читателя и тем самым отучают его от умения самостоятельной работы над книгой, над справочником, над каталогом. В этом отношении известный вред представляют собою библиографические отделы библиотек. С одной стороны, они действительно оказывают читателю огромную помощь и благодаря им у него достаточно большая экономия времени. С другой же стороны, наши молодые ученые и всякие аспиранты совершенно не приобретают опыта самостоятельной библиографической работы, необходимой для каждого ученого; они не умеют сами разобраться в каталогах, в справочниках, так как вся эта предварительная, подготовительная, черновая работа выполняется для них другими. Они часто и алфавита не знают. Нормально ли это? Нет... Библиотеки, можно сказать, водят своих читателей на помочах, как начинающих ходить ребят. [Если] предоставить после этого им [право] идти самостоятельно, [то] они упадут. Библиотеки кормят своих читателей уже тщательно разжеванной и размолотой пищей. Дайте им эту пищу в твердом виде – они не смогут ее ни разжевать, ни переварить.

Как же быть? Не знаю... Но мне совершенно очевидно, что в интересах самих же начинающих ученых нужно если не прекратить, то сократить и это вождение на помочах, и разжевывание. Помощь должна быть разумной. Самое опасное – отучать человека от самостоятельности. А насколько современный читатель отучается от нее библиотеками, и к каким результатам это приводит, – я довольно убедился из своей практики и из своих наблюдений.

Возвращаясь к межбиблиотечному абонементу, добавлю еще, что выдача или пересылка рукописей абсолютно недопустима, поскольку каждая рукопись есть уника, потеря которой ничем не возместима. Каждую рукопись следует рассматривать, как ценность еще большую, чем ценность самой редчайшей книги.

В заключение скажу, что колоссальные книжные и рукописные богатства Публичной библиотеки находятся в руках людей, не понимающих, какие богатства им вверены, не знающих, что с ними делать, и не любящих их... Вот, в чем беда Публичной библиотеки.

22 августа 1941 г.

### *Примечания*

<sup>1</sup> Судьбой и творчеством Александра Ивановича Полежаева (1894–1838) Г. В. Никольская занималась еще в 1920 гг. и некоторые результаты ее изысканий были опубликованы: Неизданные стихи Полежаева // Звезда. 1930. № 1. С. 217–218; Новое издание Полежаева // Там же. 1933. № 12. С. 195–196.

<sup>2</sup> Бычков Иван Афанасьевич (1858–1944), археограф, чл.-корр. АН, в Рукописном отделении работал с 1881 г. и до самой смерти.

<sup>3</sup> Добраницкий Мечислав Михайлович (1882–1937), юрист, дипломат, директор ПБ в 1930–1936 гг.

<sup>4</sup> Якубинский Лев Петрович (1892–1945), лингвист, работал в Институте речевой культуры.

<sup>5</sup> Десницкий Василий Алексеевич (1878–1958), критик и литературовед. Под его руководством Г. В. Никольская работала в Институте речевой культуры.

<sup>6</sup> Гейман Василий Георгиевич (1897–1965), главный библиотекарь ОР. В ПБ в 1918–1937, 1945–1963 гг.

<sup>7</sup> V зал – ныне читальный зал ОР.

<sup>8</sup> Горбачев Георгий Ефимович (1897–1942), критик, литературовед.

<sup>9</sup> Ясинский Иероним Иеронимович (псевд. Максим Белинский), (1850–1931), писатель, журналист.

<sup>10</sup> Майков Владимир Владимирович (1863–1942), археограф, палеограф, библиограф, с 1925 г. чл.-корр. АН СССР. В ОР в 1900–1942 гг.

<sup>11</sup> Добиаш-Рождественская Ольга Антоновна (1874–1939), историк-медиевист, палеограф, чл.-корр. АН, сотрудник ОР (1926–1939).

<sup>12</sup> Римский-Корсаков Алексей Николаевич (1878–1940), философ, музыковед. В ПБ в 1918–1940 гг.

<sup>13</sup> Равребе Иехиел (Иезекиль) Израилевич (1883–1939), гебраист. Подготовил 1-й том каталога материалов и документов по истории караимов в СССР. В ПБ в 1931–1937 гг.

<sup>14</sup> Ушаков Сергей Александрович (1904–1938), историк-медиевист, палеограф, ученик О. А. Добиаш-Рождественской. В ПБ в 1922–1935 гг.

<sup>15</sup> Возможно, речь идет о Бердникове Леониде Николаевиче (1911–?), который в 1931–1935 гг. занимался журналисткой и редакторской работой и в связи с этим часто бывал в ОР.

<sup>16</sup> Кацнельсон Исидор Саввич (1910–1981), египтолог. В 1923–1932 гг. работал в ОР, архиве, в Отделе эстампов.

<sup>17</sup> Дашевский Владимир Львович (1883–?), гебраист.

<sup>18</sup> Ремизов Александр Михайлович (1877–1957), писатель, в 1921 г. эмигрировал из России.

<sup>19</sup> Юргенсон Эрнест Петрович (1891–1932), коллекционер и библиофил. Сотрудник ПБ в 1914–1919 гг.

<sup>20</sup> Половцов Александр Викторович (1849–1905), историк.

<sup>21</sup> Кропоткин Петр Александрович (1842–1921), идеолог российского анархизма, ученый.

<sup>22</sup> *Nec plus ultres* (лат.) – не более того, дальше некуда.

<sup>23</sup> Гинцбург Гораций Осипович (1833–1909), общественный деятель, меценат, председатель петербургской еврейской общины.

<sup>24</sup> Торгсин (торговый синдикат) – сеть магазинов, торговавших качественными и дефицитными продуктами на золото, ювелирные изделия, предметы искусства и т. п.

<sup>25</sup> Один из персонажей произведений писателя Семена Соломоновича Юшкевича (1868–1927), автора социально-острых зарисовок из еврейской жизни.

<sup>26</sup> Люблинская Александра Дмитриевна (1902–1980), историк-медиевист, палеограф. В ПБ работала в 1934–1941, 1943–1949 гг.

<sup>27</sup> Ухмылова Татьяна Константиновна (1893–1970). В ПБ в 1934–1948,

1953–1961 гг.

<sup>28</sup> Бенешевич Владимир Николаевич (1874–1938), византист, палеограф, чл.-корр. АН, сотрудник ПБ в 1925–1928, 1933–1938 гг.

<sup>29</sup> Гранстрем Евгения Эдуардовна (1911–1992), специалист в области греческой и славяно-русской палеографии. В ОР проработала 40 лет (1934–1974).

<sup>30</sup> Вассерман Якоб (1873–1934), известный немецкий писатель, автор тетралогии «Поворотный круг», романов «Евреи из Цирндорфа», «Молох» и др.

<sup>31</sup> Руффини Джованни-Доменико (1807–1881), писатель, дипломат, участник тайного общества «Молодая Италия». Самое знаменитое и во многом автобиографическое его произведение «Passage in the life of an Italian, by Lorenzo Venoni» вышло в русском переводе в 1861 г. под заглавием «Записки Л. Бенони». Личный интерес к нему Г. В. Никольской, возможно, объясняется тем, что в эти годы она задумала и приступила к написанию романа из жизни литераторов и революционеров, действие которого преимущественно разворачивалось в Швейцарии и Италии в среде карбонариев.

<sup>32</sup> Потапенко Игнатий Николаевич (1856–1929), писатель-беллетрист.

<sup>33</sup> Тимковский Николай Иванович (1863–1922), прозаик, драматург.

<sup>34</sup> См. примечание 9.

<sup>35</sup> Крашенинников Николай Александрович (1878–1941), писатель-беллетрист.

<sup>36</sup> Маркиз Ксавье де Монтепен (1824–1902), создатель целой серии романов и мелодрам, наполненных ужасами, интригами, запутанными преступлениями.

<sup>37</sup> *Lasciate ogni speranza* (итал.) – оставьте всякую надежду, оставьте уповань (последняя строчка 3-й терцины 3-й главы «Ада» «Божественной комедии» А. Данте).

<sup>38</sup> Леру Гастон (1868–1927), французский писатель, журналист, автор детективных рассказов и романов.

<sup>39</sup> Марлитт Евгения (псевд. Е. Ион) (1825–1887), популярная немецкая романистка, автор книг с детективным сюжетом.

<sup>40</sup> Арцыбашев Михаил Петрович (1878–1927), писатель и драматург, автор знаменитого в свое время романа «Санин», переведенного на многие языки и вызвавшего ряд судебных процессов по обвинению в порнографии.

<sup>41</sup> Лопарев Хрисанф Мефодиевич (1862–1918), палеограф, исследователь древнерусской и византийской литературы, в 1896–1916 гг. сотрудник ПБ. С 1904 г. работал в Рукописном отделении, где заведовал греческим фондом. Сделанные им описания греческим рукописей помещены в Отчетах ИПБ.

<sup>42</sup> *Doice far niente* (итал.) – блаженное ничегонеделание.

<sup>43</sup> Банк Владимир Эммануилович (1876–1942), в ПБ с 1898–1942 г., знаток ее иностранных фондов, организатор библиотечного дела, член Правления ПБ, ученый секретарь. В 1937 г. был вынужден уволиться из-за развернутой кампании против старейших сотрудников, обвиненных в саботаже в первые дни советской власти. Восстановлен на работе благодаря вмешательству Н. К. Крупской.

<sup>44</sup> Шильдер Николай Карлович (1842–1902), генерал-лейтенант, историк,

директор ПБ в 1899–1902.

<sup>45</sup> Тарле Евгений Викторович (1874–1955), академик, историк нового времени. В эти годы работал над историей международных отношений XVIII–XIX вв.

<sup>46</sup> Попов Федор Яковлевич (1879–1958), сотрудник ПБ в 1925–1955 гг..

<sup>47</sup> Михайлова Анна Николаевна (1904–1968), архивист.

<sup>48</sup> Равкина Берта Израилевна (1891–1971). В ПБ с 1937–1948 гг.

<sup>49</sup> Казмичева Татьяна Матвеевна (1902–1981), поэт, переводчик. В ПБ в 1938–1941 гг.

<sup>50</sup> Бронштейн Юрий Израилевич (1899– ?). В ПБ с 1937 г. до призыва в РККА в 1941 г.

<sup>51</sup> Карпинская Нина Вячеславовна (1916–1942), в ПБ в 1938–1942 гг.

<sup>52</sup> Люблинский Владимир Сергеевич (1903–1968), сотрудник ПБ в 1922–1949 гг., вольтеровед, знаток западноевропейской книги раннего периода книгопечатания.

<sup>53</sup> Варбанец Наталья Васильевна (1916–1987), сотрудник ПБ в 1938–1982 гг. Никольская была знакома с ней еще раньше по библиотеке Дома инженерно-технических работников.

<sup>54</sup> Шубинский Сергей Николаевич (1834–1913), историк, публицист, редактор журналов «Древняя и новая Россия», «Исторический вестник».

<sup>55</sup> Платонов Сергей Федорович (1860–1933), историк России, председатель Археографической комиссии, академик.

<sup>56</sup> Пыпин Александр Николаевич (1833–1904), литературовед, академик.

<sup>57</sup> Гаевский Виктор Павлович (1826–1888), литератор, исследователь русской поэзии XVIII–XIX вв.

<sup>58</sup> Военский Константин Адамович (1860–1928), историк.

<sup>59</sup> Толстой Иван Иванович (1858–1916), государственный деятель, нумизмат, археолог.

<sup>60</sup> Ляцкая Вера Александровна (1864–1930), художница.

<sup>61</sup> Суворин Алексей Сергеевич (1834–1912), журналист, драматург, владелец и издатель газеты «Новое время».

<sup>62</sup> Саккетти Ливерий Антонович (1852–1916), историк и теоретик музыки, музыкальный критик, педагог, сотрудник ПБ в 1896–1916 гг.

<sup>63</sup> Бакуева Мария Федоровна (1883–1970), расстановщица. В ПБ в 1930–1956 гг.

<sup>64</sup> Вольпер Александр Христофорович (1894–1970), в 1936–1941 гг. директор ПБ.

<sup>65</sup> На самом деле Никольская ошибается. Б. И. Равкина служила не в Военно-политической академии им. Н. Г. Толмачева, а в 1922–1937 гг. преподавала в качестве ассистента, затем доцента кафедры русского языка и литературы во Всесоюзном коммунистическом сельскохозяйственном университете им. И. В. Сталина.

<sup>66</sup> Ляпунова Анастасия Сергеевна (1903–1973), музыковед, сотрудник ПБ в 1940–1963 гг. Ею в ОР была передана нотная библиотека отца, композитора С. М. Ляпунова.



<sup>67</sup> Корф Модест Андреевич (1800–1876), государственный деятель, историк, директор ИПБ в 1849–1861 гг.

<sup>68</sup> Бычков Афанасий Федорович (1818–1899), археограф и палеограф, академик, директор ИПБ в 1882–1899 гг.

<sup>69</sup> Кобеко Дмитрий Фомич (1837–1918), государственный деятель, историк и библиограф, член-корреспондент АН, директор ПБ в 1902–1918 гг.

<sup>70</sup> Радлов Эрнест Львович (1854–1928), философ, литературовед, член-корреспондент АН, директор ПБ в 1918–1924 гг.

<sup>71</sup> Марр Николай Яковлевич (1864–1934), языковед, академик АН СССР, директор ПБ в 1924–1930 гг.

<sup>72</sup> Орловская Мария Эдуардовна (1893–1942), сотрудник ПБ в 1928–1942 гг., зам. зав. сектором обслуживания. Пользовалась большим уважением среди сотрудников за свои личные качества.

<sup>73</sup> Басов Николай Петрович (1892–1974), сотрудник ПБ в 1933–1957 гг., зав. отделом фондов и обслуживания.

<sup>74</sup> ДИТР – дом инженерно-технических работников.

<sup>75</sup> Смирнов Николай Васильевич (1885–1942), сотрудник ПБ в 1918–1942 гг.

*Воспоминания Г. В. Никольской о Рукописном отделении / вступ. заметка, подгот. текста, публ. и коммент. Л. Б. Вольфцун // История библиотек: исслед., материалы, док. / РНБ. СПб., 2002. Вып. 4. С. 268–307.*